

ISSN 0132-0637

# Октябрь

5

1987

## Легендарный образ

Повесть Даниила Гранина «Зубр» («Новый мир», №№ 1—2 с. г.) — примечательное явление в нашей литературе. Должное впечатление о ней создается не сразу: поначалу только чувствуешь, что читать захватывающе интересно. Повесть стоит на грани документалистики и чисто художественной литературы, совмещая достоинства того и другого жанров. В центре — внушительный, парадоксальный, ни на что другое не похожий образ Зубра — под этим прозвищем фигурирует вполне реальный человек, знаменитый биолог-генетик Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский — человек огромного обаяния, своеобразия и необычной судьбы. Люди, знавшие Зубра, говорят о нем с восторгом и удивлением.

Вспомним, как Лев Толстой формулировал главную задачу искусства: «заражение чувством». Мне кажется, что заразить восторгом — одна из труднейших, если не самая трудная задача писателя. Чувство налицо, восторг — вот он, а в слова почему-то не переливается. Жалки, бессильны, не приспособлены к такому делу обычные слова. Опаснее всего впасть в пышнословие. Пышные, торжественные, возвеличивающие слова (сколько их мы уже слышали, сколько продолжаем слышать!) восторгом не заражают. От неумеренного употребления они затерлись, обезличились, утерали свой первоначальный смысл. Гранин в повести «Зубр» такими словами не пользуется. Он внешне спокоен, деловит, скромен, отодвигает себя даже не на второй — на какой-то десятый план. На первом, разумеется, сам Зубр, во всем его диковинном величии, сочетающий изысканность с грубостью, бытовую неприхотливость с аристократизмом (в числе его предков и родичей — адмиралы Сенявин, Головин, Нахимов, Невельской, сам князь-анархист Кропоткин). На втором плане — многочисленные люди, рассказывающие автору о Зубре, многоголосою живых свидетельств, живых изумлений, живых восторгов. И только в последнюю очередь — автор, редко и скупно дающий слово себе самому. И чудо случилось: заражение восторгом произошло! И это несмотря на то, что автор отнюдь не идеа-

лизирует своего героя. Не скрывает от нас его неуживчивости, шероховатостей, внезапных срывов в несправедливость, даже порою в загул. Все это крупно, неординарно, иногда непонятно. Автор и сам признается, что «феномен Зубра» не до конца ему ясен. Как выгодно это «не-до-конца-ведение» отличает Гранина от многих писателей-биографов, щедро беллетризирующих образы своих знаменитых героев, домысливающих за них по своему разуму, претендующих на всеведение и всепонимание!

Возвращаясь к задаче «заражения чувством», думаю, что в числе чувств, которыми писатель может и вправе заражать, есть и чувство непонимания, недоумения. Слишком часто у нас требуют от писателя, чтобы он до глубины понимал и мог исчерпывающе объяснить все явления, о которых пишет. Эту определенность, однозначность принято именовать «проявленностью позиции писателя». Мне кажется, нет ничего губительнее для литературы, чем, так сказать, «перепроявленность» позиции писателя, его претензии на обладание окончательной истиной в последней инстанции, на право судить и выносить приговоры, обжалованию не подлежащие. Опыт учит, что многие приговоры, опрочетливо вынесенные в прошлом, обжалованию подлежат, со временем пересматриваются и даже отменяются (нередко, увы, слишком поздно).

Предельная скромность, вдумчивость, беспристрастие, добросовестность в освещении фактов — вот, на мой взгляд, вполне «проявленная» авторская позиция в повести «Зубр». Гранин, как мы знаем по его прежним произведениям, вообще живо интересуется прошлым — корнями, истоками явлений; в новой повести он бесконечно терпеливо, как следопыт, изучает подробности жизни своего героя, собирает свидетельства, слушает, записывает. Ничего лишнего — никакой беллетризации, никакого щегольства научной терминологией. «Я не собираюсь описывать его научные достижения, — определяет свою роль Гранин. — Не о них я пишу, я рассказываю про одну человеческую жизнь, которая, мне кажется, стоит внимания и размышлений».

В своем самоограничении автор, мне кажется, жертвует даже сильными, многократно проверенными сторонами своего таланта: искусством словесной живописи, мастерством бытописателя. В повести «Зубр» этого нет или очень мало. Все подчинено единой задаче, одному волево-му замыслу. С первых же страниц нашим вниманием властно завладевает центральный герой, привлекая к себе любопытствующее внимание всего научного конгресса по генетике: «В том дальнем углу в кресле сидел Зубр. Могучая его голова была набычена, маленькие глазки сверкали исподлобья колочие и зорко. К нему подходили, кланялись, осторожно пожимали руку. Оттопырив нижнюю губу, он пофыркивал, рычал то одобрительно, то возмущенно. Густая седая грива его лохматилась. Он был, конечно, стар, но годы не источили его, а скорее задубили. Он был тяжел и тверд, как мореный дуб».

Слово «мореный» здесь не случайно. Жизнь именно «морила» Зубра, подвергала испытаниям — физическим и моральным, — но не сломала, не смирила. Неизменными остались мощные, упорные черты облика и нрава. Массивность, внушительность, независимость, бесстрашие, верность себе, своей чести, достоинству, своему Делу. Презрение к условностям, к быту, к материальным благам, к чинам и званиям. Громкий голос, протодьяконский бас (не просто «вскрикивает», а «взгаркивает»). Полная естественность поведения, чем-то роднящая его с детьми...

Зубр — живая легенда, человек фантастически сложной судьбы. Авантюрная юность первых послереволюционных лет, бои гражданской войны, в перерывах — наука. «Повоюем немножко, — рассказывает Зубр, — отгоним беляков, отдохнем, снова воюем, а как часть нашу разобьют, возвращаюсь в Москву, в университет, к своим рыбам. Потом опять в армию — катим на фронт».

Гранин не пытается, как это делают многие биографы, задним числом «обольшевичить» своего героя (тогда еще не Зубра, а «Колюшу»). «Не будем приукрашивать, — пишет он, — Колюша шел в Красную Армию не из политических убеждений. Не было этого. Политические убеждения, как он полагал, есть у коммунистов и беляков. Коммунистом он не был. Беляком тоже... У Колюши и близких к нему людей убеждения были не политические, скорее патристические».

Чего только там не было, в этой юности! «Воровал, мошенничал, побирался, только не злодейничал» — это Зубр о себе тогдашнем. Сыпной тиф, от которого едва не умер. Учился в университете, но официально его не окончил, диплома не получил: не придавал значения формальностям. Так и остался на всю жизнь «ником» — человеком без образования. Мировая его слава не опиралась ни на какие степени, звания. «Тог-

да, в первой половине 20-х годов, — пишет Гранин, — писчебумажная жизнь в науку еще не проникла. Человек расценивался по делам, ученый — по работам... Райское время, когда все ходили нагишом, не прикрываясь дипломами и званиями».

«Райская жизнь!» — неоднократно восклицает Гранин, говоря о 20-х годах, когда заниматься наукой было куда менее выгодно, чем работать грузчиком. В чем-то это верно, но нет ли тут элемента идеализации? Знаю то время по своим студенческим годам. Правда, я была не биологом, училась на физико-математическом, но уверена: нищета была одинаковой. Бедна была страна, бедна и наука, плохо оборудованы лаборатории... Петроградский университет, где я училась, почти не отапливался, крысы, вспугнутые наводнением 1924 года, гуляли по аудиториям... Какая там райская жизнь! Прав Гранин в одном: материальная бедность науки охраняла ее от оравы лишних людей, идущих ныне в «ученые» ради материальных благ и престижа... Но вернуться к молодому «Колюше». В 1921 году он женился на Елене Александровне Фидлер, в просторечии «Лельке», тоже, как и он, биологе-генетике, верной его спутнице и помощнице. Общая работа, потом общая жизнь за границей, а еще позже — общие беды и горести соединили их накрепко, пожизненно.

В 1925 году судьба Зубра круто меняется: его направляют на работу в Бух, пригород Берлина, во вновь организуемый германо-советский научный центр (в то время отношения с Германией были у нас дружескими). Разворачивается работа в области генетики; Зубр быстро завоевывает авторитет, становится во главе центра, постепенно приобретает мировую известность, принимает участие во всех международных конгрессах, симпозиумах. Его талантливые, новаторские работы плюс обаяние его личности привлекают к нему множество людей. Знаменитые ученые сотрудничают, беседуют, приятельствуют с ним. Среди них — Эйштейн, Бор, Гейзенберг, Планк, Шредингер, Морган, Джулиан Хаксли. Среди них и наш великий ученый Н. И. Вавилов, и сам Вернадский — единственный из великих, перед которым Зубр преклонялся.

Надо специально подчеркнуть, что, прожив почти 20 лет в Германии, Зубр никогда эмигрантом не был, сохранял советский паспорт, отвергал неоднократные предложения принять германское подданство, а с русской послереволюционной эмиграцией почти не общался. Тем интереснее выглядит как будто не связанное впрямую с сюжетом рассуждение Гранина об эмиграции. Кажется, впервые в нашей литературе с сочувствием и уважением говорится не об отдельных ее представителях, посмертно «прощенных с оговорами» (Шалапин, Бунин и др.), а обо всем

огромном ее массиве (численностью в три миллиона!). Подчеркивается трагичность ее судьбы, «особая, ни с чем не сравнимая горечь, которой была пропитана жизнь этих людей», огромный вклад, который внесла русская эмиграция во всю мировую культуру. «Можно назвать сотни имен в физике, химии, философии, литературе, биологии, живописи, скульптуре, имен людей, которые создали целые направления, школы, сами явили миру великие примеры народного гения». Сегодня, как мы знаем, после многих лет молчания эти примеры постепенно становятся достоянием и нашего народа.

Итак, Зубр в Германии, но на особом положении, в некоей научной резервации. В 1933 году приходит к власти Гитлер, набирает силу и наглость фашизм. Поначалу это сравнительно мало затрагивает научную колонию в Бухе. Гораздо больше волнуют ее вести с родины — недобрые вести. В биологии начинаются времена преследований, расправ. Истребляется и заглушается генетика, объявленная буржуазной лженаукой, мракобесием, поповщиной... В памяти у нас, современников, даже не жертв, а сторонних свидетелей этих зубодробительных кампаний, до сих пор звучит бранная пара слов: «менделисты-морганисты», а потом еще и «вейсманисты»... Каково же было биологам? Каким-то средневековым, ведьмовскими процессами все это оборачивалось... Бывшие товарищи, оставшиеся в Союзе (в том числе и его учитель Н. К. Кольцов), советовали Зубру, зная его характер, не спешить с возвращением, не губить себя, переждать... Он и переждал.

В 1937 году — первый звонок надвигающейся беды: Зубра вызвали в Советское посольство, недвусмысленно предложили ему вернуться в Союз. Он знал, каково там, и отказался ехать. Не задумываясь о последствиях. А они были, и серьезные. Приклеили к нему гадкое слово тех времен «невозвращенец». Он еще поплатится за это — в свое время. А пока, оставаясь в Бухе, продолжает работать со своими плодовыми мушками — дрозофилами, изучает механизм наследственности, динамику популяций.

Начинается вторая мировая война. Германия топчет Европу, оккупирует одну страну за другой. Идут преследования евреев. Выскиваются, выгоняются, увольняются не только чистые, но и полу-, и на четверть, и на восьмую еврей. Зубр, как истинный русский интеллигент, питал отвращение к антисемитизму, всеми правдами и неправдами вызволял преследуемых, пристраивал их на работу...

А вести с родины все страшнее. В 1940 году арестован Н. И. Вавилов. Умер учитель Зубра Н. К. Кольцов — не могли эти истинные ученые сосуществовать с тогдашним диктатором в биоло-

гии, малограмотным Трофимом Лысенко и его цепным псом, «главным теоретиком» Презентом. Неожиданно подписан пакт о ненападении между Советским Союзом и фашистской Германией. В газетах — фотографии: Риббентроп чуть ли не в обнимку с Молотовым... С каким ужасом мы, тех лет свидетели, глядели на эти портреты! Помню, как на одном из политзанятий руководитель обмолвился: «Товарищ Гитлер», — и был встречен рычанием зала... Никто ничего не понимал. Это потом нам объяснили: целью была временная передышка перед неизбежной войной.

Неизбежное произошло: Гитлер напал на Советский Союз. На Зубра это подействовало, как взрыв. Весь патриотизм в нем вздыбился, на этот раз неразлучный с политикой. Глыба ожила, задействовала. Зубр спасал десятки людей — беглецов «остарбайтеров», военнопленных, снабжал их продовольственными карточками, давал им приют. Рисковал? Конечно. Но личное бесстрашие всегда было ему свойственно.

Тут надо коснуться самого трагического в жизни четы Тимофеевых: судьбы их старшего сына Дмитрия (звали его почему-то Фомой) — талантливого юноши, красавца, умицы, «миляги». Зубр, сам безоглядно смелый, боялся за Фому, берег его для науки. А тот тайком от отца связался с антифашистскими группами, спасал военнопленных, французских летчиков, собирался самолично убить Гитлера. Мудрено ли, что его арестовали и отправили в один из страшнейших лагерей смерти — Маутхаузен? Там он в конце концов и погиб, но родители долго об этом не знали, надеялись: жив. Зубр, томимый тревогой за сына, винивший себя в его судьбе, не присмирел, не стал вести себя иначе. «Он не мог с этим ничего поделать», — комментирует Гранин, — как не мог стать ниже ростом. Обязательство перед Фомой, может, и состоит в том, чтобы не убояться». Изменился в одном: стал ездить в церковь, бить поклоны, молиться за сына. Удивительна объективность, с которой Гранин пишет об этом, признавая, что в некоторых обстоятельствах, особенно на закате жизни, для человека неизбежны и естественны размышления о смертном часе, о душе, о смысле всего сущего. Вопрос о том, был ли Зубр по-настоящему религиозен, остается для него, как и ряд других, не до конца ясным. В разговорах об этом Зубр был сдержан, соскальзывал на край шутки.

Тем временем война идет уже к концу: со стороны Одера движутся советские танки, вот-вот войдут. Институты Буха эвакуируются. Среди сотрудников Зубра разброд; надо ли оставаться: «Зачем мы нужны в стране победившего Лысенко?» Зубр непреклонен: никуда не поедет, будет ждать своих, русских. Дождался.

Много всего тут было, коротко не перескажешь. Дважды арестовывался,

сперва «начерно», потом «начисто», судили его за «невозвращение» в 1937 году, сослали в лагерь, в компанию уголовников, полицейев, влосовцев. Между двумя арестами замнаркомом внутренних дел Завенягин познакомился с Зубром, живо им заинтересовался, назначил директором института, оставил пока в Бухе, но с расчетом на будущую работу в Союзе. Второй арест был, оказывается, по линии другого ведомства, ничего не звавшего о распоряжении и планах Завенягина. Когда тот, хватившись, стал разыскивать Зубра, найти его не могли (может, и впрямь «затерялись документы», как любят оправдывать себя бюрократы?). Через год с лишним нашли, но умирающего; в лагере он заболел пеллагрой, превратился в мешок с костями, ходить уже не мог, несли его на рогожке. Кое-как выхолили, выкормили. Когда выздоровел (относительно, ибо зрение испортилось непоправимо) — направили на Южный Урал. Стал там заниматься своей наукой — генетикой. И это во времена бурной лысенковщины, когда сами слова «генетика», «ген» были изъяты, репрессированы! Коллектив, возглавленный Зубром, состоял частично из русских, частично из немцев. Наряду с популяционной генетикой занимались там радиобиологией — только что возникшей тогда наукой о влиянии радиации на живые организмы и способах защиты от нее. Нащупывали методы очистки вод рек, озер от радиоактивных изотопов (как это актуально звучит сегодня, после Чернобыля!). Начальник Зубра — доброжелательный, интересующийся наукой А. К. Уралец — нашел способ вызвать из Буха «Лельку» с младшим сыном Андреем, воссоединить семью (были люди и среди начальников в те суровые времена!).

В 1948 году состоялась печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ — полная победа Лысенко (его поддерживал сам Сталин!) и полный разгром его противников. Генетика была объявлена вне закона. До уральской лаборатории эта волна докатилась только через год. Приказано было ликвидировать всех дрозофил, ни в каких отчетах и планах о генетике не упоминать. К счастью для Зубра, умный начальник не препятствовал его работе: «Вы, Николай Владимирович, непривычны к нашим порядкам, поэтому к вам особый разговор. Занимайтесь, как и занимались, своей генетикой, но смотрите, чтобы ни в каких отчетах и планах, которые вас, старых спецов, научили подписывать, ничего генетического или дрозофильского не значилось, ни-ни!»

(До чего же типичная картина! Не так ли и нас, «технарей», занимавшихся в конце 40 — начале 50-х годов задачами управления, доброжелатели учили: «Работайте, как работали, но только слов «кибернетика», «обратная связь» ни в коем случае не произносите! И иностранных ученых не цитируйте!»)

Зубр с сотрудниками и работали по-прежнему. Где-то добывали крамольных дрозофил (вот только публиковаться не удавалось). В общем, с работой Зубру повезло: его лаборатория была единственным местом в Союзе, куда не досягала мрачная диктатура Лысенко. «Вместе с талантливым, — пишет Гранин, — досталась Зубру от природы еще и везучесть». И наряду с везучестью — устойчивостью, способностью в любых передрягах оставаться самим собой. После всех злоключений Зубр «не озлился, не упал духом, не извернулся... О лагерном своем житье он вспоминал со смешком, словно причислял его к прочим занятным перипетиям своей биографии».

А вот приспособиться к новым для него порядкам не умел. Ко всем этим условностям, мнимостям, бюрократическим пляскам, которыми изобилывала жизнь той поры и которые, что греха таить, и сегодня не до конца изжиты. Недоумевал: «Зачем пишут анонимные рецензии на статьи в научных журналах? Зачем надо брать обязательства, когда я и без них должен делать все, что могу? Почему нельзя купить реактив в магазине за свои деньги, потом бухгалтерия вернет?» Не мог понять магии цифр: почему надо непременно сдать научную работу до тридцатого декабря? «А если я сдал второго января, значит, план не выполнен?.. Нет уж, извините, это никакая не научная работа, а бумагоиспускание!»

Биостанция в Миассове, которую возглавлял Зубр, была своего рода земным раем, притягательным центром для научной молодежи. «Зубр никого специально не агитировал, он просто распахнул ворота к себе. Говорил то, что думал, без самоцензуры. Оказалось, что можно. Никто ведь толком не знал, что можно. Все продолжали знать «про нельзя».

Вот и сегодня слишком много мы продолжаем знать «про нельзя». Безоглядность — как мы все в ней нуждаемся, мы, десятилетиями приученные оглядываться! Мне кажется, Гранин заразился от своего героя безоглядностью. Как пламенно-откровенно, не боясь опасных аналогий, громит он Лысенко и его «идеи», официально декретировавшиеся как единственно верные в течение многих лет! Идущие вразрез не только наукой — со здравым смыслом.

«Наследственность — результат воспитания! Перерождение овса в овсюг, сосны в ель, подсолнуха в заразиху! Превращение животных клеток в растительные и обратно!..» Какие могут быть наследственные болезни в социалистическом обществе?.. Все это преподносилось директивно еще в 1963 году. Зубр хватался за голову, рычал от ярости. Он не представлял себе, как широко распространилась эта бредовина, как внедрилась эта средневековая чушь в умы, особенно молодежи. И далее: «Царила, расцветала фикция... Миражи были объявлены явью, мистификации утвержде-

ны. А то, что существовало, то, чем занимался весь мир, было объявлено несуществующим. Гены — не существуют. Хромосомы — не существуют... Добытые великими трудами факты выбрасывали, как мусор... Среди черепков резвились бесы. Они дудели в рожки и трубы во славу своего вожака. Водружали его портреты — аскетическое изгладанное лицо с косой челкой, из-под которой пылал сверлящий взгляд. То, что он, самоучка, «не кончая академиев», запросто одолел, разоблачил мировых корифеев, льстило чиновникам, к тому же его учение было понятно любому невежде... Не требовалось ни знаний, ни тем более таланта... Требовалось лишь верить... Вера влияла на урожай, на улов, на лесопосадки. Истовые крики Самого порождали верующих. Он обещал чудо, и не когда-нибудь, а вот-вот, через год, через два. К нему устремлялись доверчивые души, уставшие от недородов замученной земли, от реформ, починов, невыполненного плана, понукания толкачей, постановлений, оравы уполномоченных. Ему устраивали оvation, не согласных с ним освистывали. Он умел вовремя пообещать. За тем, кто обещает, всегда идут».

Я позволила себе привести такую длинную цитату, потому что считаю ее образом гражданственной, мыслящей прозы, где публицистика не вытесняет художественность, а переходит в нее. Автор здесь касается не только положения в биологической науке известного периода, а куда более широкого круга вопросов. Он анализирует причины и генезис любой диктатуры, поддерживаемой массами. И не случайно упоминаются «косая челка», «сверлящий взгляд», «истовые крики, порождавшие верующих». Воинственная, гипнотизирующая чертовщина, за которой идут люди, почти переставая быть людьми... Аналогия напрашивалась, в то время она была у всех на устах.

Мы, люди точных наук, тогда обольщали себя иллюзией, будто ничего подобного у нас произойти не может. Думали (не без гордости), что в наших науках нельзя выехать на чистом, голом невежестве: надо знать хотя бы азы ремесла, языка, на котором эти науки выражаются, так же как нельзя быть совсем плохим воздушным гимнастом: ты просто не удержишься на трапеции... Недолго нам оставалось так утешаться: наступили времена борьбы с так называемым «низкопоклонством», гонений на кибернетику, и мы таки хлебнули лиха! Совсем плохие философы и никакие математики, круглые невежды объявили несуществующей такую реальность, как мировая наука: все существенные открытия, по их шаманским воплям, принадлежали только русским и советским ученым, а кибернетика — проклята и зачислена в лженауки, прислужницы капитала.

В повести Грагина внятно слышен

призыв: «Люди науки, бойтесь невежд! Отстаивайте истину против абсурда, какой бы мощной поддержкой он ни пользовался!»

Справедливость требует отметить, что и в самый разгар лысенковщины находились люди, подлинные ученые, не поддавшиеся ей, и среди них, разумеется, Зубр. «Это славные страницы, которые говорят не о позоре нашей науки, а о ее достоинстве,— пишет Гранин.— На собрании в ботаническом институте докладчик-лысенковец прямо спросил: «Неужели среди вас нет морганистов?» Встал Д. Лебедев: «Почему ж нет, есть, я морганист!» Их было много, кто не отрекался, вставал».

Зубр появился на научном горизонте уже не во время самого пышного расцвета лысенковщины, несколько позже, но мнения своего о «корифее биологии» не скрывал. И это не сошло ему даром. Физически уничтожить его не могли: не те времена. Преследования шли исподтишка, тихой сапой. Распустили слухи, будто бы в Германии он работал на гитлеровцев, ставил опыты над людьми. Пошли в ход анонимные письма — подлинный бич нашей общественной жизни вплоть до самых последних времен, когда они стали подсудны. Зубр не опровергал обвинений, отмалчивался. Легко мог найти свидетелей, подтвердивших бы, что все это бред. Но не искал, не удостоивал. Гордыня предков, что ли, в нем выиграла? Похоже, что так. Оклеветанный, он оказался в изоляции. Знавшие Зубра, разумеется, не верили клевете, не знавшие — верили.

Но время шло, времена менялись. Кончилась власть Лысенко и его прихвостней, генетика понемногу начала дышать, «правда, одной ноздрей», как выразился тогда один из ее адептов. На помощь пришли физики, математики: семинары по генетике шли под их эгидой. У Зубра появились новые друзья, ученики, воспитанники. Росло международное признание его работ: самые разные академии, университеты, научные общества провозглашали его своим членом, награждали почетными медалями. Признание, слава — везде, только не у себя на Родине. В конце шестидесятих годов группа наших ученых сделала попытку провести его в Академию наук. Ничего не вышло: кандидатуру не допустили до выборов. «Начальство убоилось. И с начальством спорить тоже убоилось. А ему это было вроде бы совсем безразлично. Не получилось, и ладно. Может, это поражение, а может, так и надо». Невольно вспоминаются строки Пастернака:

Но пораженья от победы  
Ты сам не должен отличать.

Зубр и не отличал. Работал. После Урала в Обнинске, потом в других местах. Под конец жизни его все больше занимали вопросы экологии, охраны природы от вмешательства человека,

сущности механизма ее устойчивости. В этом Зубр опередил свое время. В те годы считалось, что главное — побольше взять у природы для производства, для сельского хозяйства. Лозунгом времени было «не ждать милостей от природы», а забирать их у нее насильно. Противники Зубра обвиняли его в политической безграмотности: это у капиталистов хищническое отношение к природе, а у нас, при нашем социалистическом хозяйстве... Знали бы обвинители, какое значение приобретет проблема защиты окружающей среды в недалеком будущем! Впрочем, многие из них, вероятно, спешно переменили свои взгляды, когда пришла пора... Трудно ли?

Как раз об экологии — о «сочетании наиболее лучших вариантов сосуществования разума с биосферой» размышляет Зубр в заключительной сцене повести, сидя на верхней палубе речного парохода. В этой сцене автор как бы дает себе волю, освобождается от ограничений, которые сам на себя наложил, пишет широко, вольно, торжественно:

«Река ширилась, величаво приближалась к устью. Жизнь его тоже приближалась к устью. Былые наветы, обиды, история с Академией наук — все, что когда-то волновало, осталось позади, выделось мелким. Он чувствовал себя рекой, текущей уже долго и бог знает откуда. В нем были воды верховья и тот поток, с которого все началось; в сущности, он жил много раньше, чем появился на свет, он был из прошлого века. Россия Тургенева, Чехова и Россия гражданской войны, Россия послевоенная, современная, Европа довоенная, гитлеровская Германия, атомный мир — в нем сошлись все эпохи нашего века, и все они продолжали пребывать в нем...

Иногда мне кажется, что он не умер. Если он мог прийти к нам из прошлого века, то он мог и уйти туда. У индейцев в одной из легенд говорится про день, когда с заоблачных высот спустятся бизоны, помчатся по прерии. И мужчины племени будут бежать за ними, чтобы почувствовать дрожь земли под тяжестью исполинов, чтобы вернуть себе чувство страха и восторга».

Изумительная по художественной силе концовка!

Прочтена до конца повесть, и все-таки многое осталось неясным. Перечитываешь, и неясность не проходит, ряд узлов не развязан, ряд нитей оборван. Сказано, что «Лельки» уже нет — когда же она умерла? Когда и как умер сам Зубр (где-то сказано, что «уже давно»)? Каковы причины его служебных переме-

щений последних лет? Что стало с младшим сыном Андреем? Наша привычка к обстоятельному, подробному жизнеописанию сначала возражает против таких недоговоренностей. Но, подумав, приходишь к выводу: пожалуй, так и лучше. Надо ли требовать, чтобы в этом произведении были сведены все концы с концами? Наверно, нет. Мне кажется, что черты характера и облика героя передалась и повести: как и сам Зубр, она видится этакой глыбой, массивной, впечатляющей, правдивой и бесстрашной. Но не до конца, не до предела, не до прозрачности ясной.

Значит ли это, что мне все безоговорочно нравится в повести? Нет, не значит. Мне кажется, что некоторая растянутасть с налетом литературщины отличает две главы: 37-ю и 38-ю, посвященные «заклятому сподвижнику» Зубра, клеветнику и доносчику, некоему Д. — единственному врагу Зубра среди многих восторженных почитателей, с которыми беседовал автор. На мой взгляд, образ Д. излишне демоничен, романтизирован, а беседа автора с Д. чем-то напоминает разговор Ивана Карамазова с чертом. Пожалуй, у Зубра должны были быть и враги поменьше, поплоче, пообыкновеннее. Впрочем, настаивать не буду: может быть, я «по жалкому, евклидовскому уму своему» чего-то не поняла и именно в этих главах кто-нибудь усмотрит самый глубокий, заветный умысел автора.

Еще замечание. Порой мне кажется, что излишнее (снизу вверх!) умиление перед учеными, авторами «формул и уравнений», туманит глаза автору повести и он начинает говорить красиво, что вообще-то ему не свойственно. Например, о внезапной дружбе Зубра с математиком Ляпуновым говорится: «Оба они были действующими вулканами, в их грохоте и пламени ощущался жар подземных сил». Я лично знала покойного А. А. Ляпунова, милейшего человека, но, ей-богу, никакого «грохота и пламени» не замечала.

Не буду говорить о мелочах, о грехах, языковых небрежностях, повторениях, длиннотах — они в повести есть. Автор, опытный литератор, сам их заметит и устранит при подготовке «Зубра» к отдельному изданию.

Главное — повесть Гранина вызывает глубокое уважение и живую благодарность. Несомненная гражданственность позиции автора нигде не переходит в «указующий перст». Повесть на редкость богата содержательными мыслями, многие из которых глубоко современны.